

МОЕ САМОНАСЛАЖДЕНИЕ

Мы стоим у порога новой эпохи. Мир заботился до сих пор лишь о выгодах жизни, о жизни. Ибо направлены ли все заботы на земное или на потустороннее, на временную или на вечную жизнь, жаждут ли «насущенного хлеба» («дай нам хлеб наш насущный») или «святой пищи» («истинный хлеб с небес», «хлеб Божий, который сходит с небес, и дает жизнь миру», «хлеб жизни» — Иоан.; б), заботятся ли о «жизни сей» или о «жизни в вечности»,— все это не изменяет ни цели деятельности, ни забот, ибо как в одном, так и в другом случае то, к чему стремятся,— жизнь. Являются ли иными современные стремления? Хотят, чтобы никто более не заботился об удовлетворении необходимейших жизненных потребностей, а с другой стороны, учат, чтобы человек заботился о посюстороннем, чтобы он жил в действительном мире, без суетных забот о потустороннем.

Рассмотрим это с другой стороны. Кто озабочен только тем, чтобы жить, тот забывает среди забот о наслаждении жизнью. Если он заботится только о жизни, если он еще боится за нее, то не может затрачивать всю свою силу на то, чтобы использовать всю жизнь, то есть ею наслаждаться. Но как использовать жизнь? Потребляя ее, как свечку, когда ее сжигают. Пользуясь жизнью, тем самым пользуются собой, живым, потребляя и уничтожая ее и себя. Наслаждение жизнью - вот «цель» жизни.

И вот - да будет нашей целью наслаждение жизнью! А в чем была цель религиозного мира? В самой жизни. «В чем состоит истинная жизнь, блаженная жизнь и т. д.? Как можно достичь ее? Что должен делать человек, чтобы быть истинно живым человеком? Как он исполняет это призвание?» Эти и подобные вопросы указывают на то, что вопрошавшие искали сначала себя, именно себя в истинном смысле, в таком смысле, чтобы их жизнь стала истинной. «То, что я теперь, — тень; то, чем я буду,— вот мое истинное я». Погоня за этим «я», стремление его восстановить, осуществить — вот трудная задача смертных, которые умирают для того, чтобы воскреснуть, живут только для того, чтобы умереть, для того, чтобы найти истинную жизнь.

Только тогда, когда я уверен в себе и больше себя не ищу, тогда только я действительно принадлежу самому себе, тогда я — моя собственность: я имею себя, а потому я пользуюсь и наслаждаюсь собой. Пока же я думаю, что мне нужно только найти мое истинное я и что должно настать такое время, когда не я буду жить в себе, а Христос или какое-нибудь другое духовное, то есть призрачное я, например, истинный человек, сущность человека и т. п., — до тех пор я не могу радоваться себе.

Огромная пропасть разделяет эти два воззрения: в старом я привожу к себе, в новом же я исхожу из себя; в первом я стремлюсь к самому себе, во втором я уже обладаю собой и поступаю с собой так, как это делают со всякой своей собственностью: наслаждаюсь собой по своему благоусмотрению. Я не боюсь более за жизнь, а «расточаю» ее.

Отныне вопрос не в том, как достичь и покорить жизнь, а в том, как ее расточить, как ею насладиться, или не как выработать в себе истинное я, а как изжить себя.

В чем состоит идеал, как не в я, которое ищут, но которого никогда нельзя достичь? Вы ищете себя? Следовательно, вы еще себя не имеете; вы ищете, чем вы должны быть, а потому вы не стали еще собой. Вы живете в тоске, и тысячелетия уже живете в ней, живете в надежде. Но совсем иначе живут в наслаждении!

Касается ли это только так называемых благочестивых людей? Нет, это касается всех, кто принадлежит умирающей исторической эпохе, - даже прожигателей жизни. И для них после будней наступало воскресенье и после суетной жизни — грезы о лучшем мире, о всеобщем человеческом счастье, короче, об идеале. Но благочестивым людям противопоставляют в особенности философов. Но разве они думали о чем-нибудь ином, как не об идеале, об абсолютном я? Повсюду тоска, стремление и надежда, и только они. Назовите это, если хотите, романтизмом.

Для того, чтобы наслаждение жизнью восторжествовало над тоской по жизни или надеждой, оно должно разрушить ее в обеих формах, которые рассматривает Шиллер в «Идеале и жизни», уничтожить духовную и мирскую нищету, искоренить идеал и — заботу о насущном хлебе. Кто должен тратить свою жизнь на то, чтобы кое-как перебиваться, тот не может наслаждаться жизнью, а кто ищет свою жизнь, тот ею не обладает и тоже не может наслаждаться: и здесь, и там нищета, но «блаженны нищие».

Тот, кто жаждет истинной жизни, тот не имеет власти над настоящим и должен пользоваться им для достижения «истинной жизни», должен пожертвовать им для этого искания и этой задачи. Религиозные люди, верующие в потустороннюю жизнь и считающие земную только подготовлением к ней, довольно ясно понимают служебную роль своего земного существования, которое они отдают исключительно на службу будущего, небесного существования. Но мы совершили бы крупную ошибку, если бы считали наиболее просвещенных и сознательных менее способными на такую жертву. Ведь в «истинной жизни» можно найти гораздо более всеобъемлющее значение, чем в «небесной». Разве «человеческое» и «истинно человеческое» (я беру идеал либералов) не та же «истинная жизнь»? И разве человек рождается уже с этой истинно человеческой жизнью, или ему приходится с тяжкими усилиями возвыситься до нее? Есть ли она его настоящая, или же он может достичь ее в будущей жизни, и только в случае, если «он не будет запятнан эгоизмом»? При таком воззрении жизнь существует лишь для того, чтобы найти жизнь, и люди живут тогда лишь для того, чтобы оазвить в себе «сущности человека», живут ради этой сущности и по воле ее. Жизнь дана тогда только для того, чтобы при ее посредстве достигнуть «истинной», очищенной от всякого эгоизма жизни. Отсюда и происходит боязнь пользоваться как угодно своей жизнью, ибо она должна служить только для «истинного и правильного пользования».

Короче, нужно иметь некое жизненное призвание, задачу жизни, нужно нечто осуществить своей жизнью и создать нечто, для чего наша жизнь есть только средство и орудие, нечто, чему мы обязаны нашей жизнью. Есть Бог, требующий человеческих жертв. Только грубая форма непосредственной человеческой жертвы исчезла с течением времени, сама жертва

осталась; ежечасно приносятся преступники в жертву правосудию, а мы. «жалкие грешники», сами себя приносим в жертву «человеческой сущности», «идее человечества», «человечности», и как они там еще называются — эти идолы или боги.

Но, отдавая нашу жизнь тому «нечто», мы не имеем права (и это первое следствие) лишать себя жизни.

Консервативность христианства не позволяет нам думать о смерти иначе, как с намерением уничтожить ее жало и... мирно продолжать жить и оберегать себя. Христианин позволяет с собой проделать все, если только он — как настоящий еврей, может прокрасться, пройти контрабандой на небеса. Но умертвить себя он не может, он может себя только поддерживать и трудиться для «уготовления себе будущего места». Консерватизм, или «преодоление смерти», ему дороже всего: «Последний враг истребится - смерть»* (Первое послание к Коринфянам, 15, 16). «Христос разрушил смерть и осветил Евангелием жизнь и непреходящее бытие»** (Второе послание к Тимофею, 1, 10). «Непреходящее», неизменное!

Нравственный человек хочет добра, истины, и когда у него есть средства, действительно ведущие к этой цели, то эти средства — не его средства, а средства самого добра, истины и т. п. Эти средства никогда не безнравственны, ибо они служат хорошей цели; цель оправдывает средства. Этот принцип называют иезуитским, но он безусловно «нравственный». Нравственный человек действует во имя какой-нибудь цели или идеи; он превращается в орудие идеи добра, как благочестивый человек, который считает своей высшей гордостью быть орудием в руках Бога. Ждать смерти — вот что считает добром нравственный закон; но самому причинить себе ее — безнравственно и зло: самоубийство не находит оправдания перед судом нравственности. Если религия запрещает самоубийство, ибо «ты не дал сам себе жизнь, а Бог дал ее тебе, и потому только он может отнять ее у тебя» (как будто бы, став на ту же точку зрения, Бог не отнимает ее у меня и тогда, когда я сам себя убью, так же как и тогда, когда меня убивает упавшая на голову черепица или вражеская пуля: ведь и решение покончить с собой пробудил во мне Бог!), то и нравственный человек запрещает мне убивать себя, ибо моя жизнь принадлежит отечеству «и я не знаю, не смогу ли еще содействовать своей жизнью добру». Конечно, добро теряет во мне орудие так же, как и Бог. Если я - безнравственный человек, то я служу добру своим исправлением, если я «безбожен», то Бог радуется моей готовности к покаянию. Итак, самоубийство безбожно и нечестиво. Если кто-нибудь, стоящий на религиозной точке зрения, кончает жизнь самоубийством, то он поступает безбожно, позабыв о Боге; если же он стоит на нравственной точке зрения, то поступает безнравственно, позабыв о долге. Много спорили о том, можно ли оправдать смерть Эмилии Галотти перед нравственностью (смерть ее считают самоубийством, что совершенно верно). Что она до такой степени ценила свое целомудрие, то есть нравственное благо, и готова была пожертвовать своей жизнью для него — это во всяком случае нравственно; но то, что она не доверяла своей власти над страстью, это уже безнравственно. Подобные противоречия составляют вообще сущность трагического конфликта в моральных драмах, и нужно нравственно мыслить и чувствовать, чтобы интересоваться этим.

Все, что можно сказать о благочестии и нравственности, непременно относится и к человечности, ибо мы обязаны жизнью также и человеку, человечеству или роду. Только

когда я не имею никакого долга ни перед каким существом, только тогда вопрос о сохранении жизни становится моим делом. «Прыжок с этого моста сделает меня свободным!»

Но если наш долг перед тем существом, которое создало нас, сохранять нашу жизнь, то мы должны жить не по нашему усмотрению, а в духе этого существа. Все мои чувства, мысли и желания, все мои деяния и стремления принадлежат ему.

Что именно соответствует тому существу — вытекает из самого понятия этого существа, а как различно понималось оно, или как различно представляли себе его! Какие требования предъявляет высшее существо магометанам, как отличны они от тех, которым следует христианин — как разно поэтому должны жить христиане и магометане! Только в одном все тверды: высшее существо должно управлять нашей жизнью.

Но я не останавлиюсь долго на благочестивых, которые видят в Боге судию своего и в словах его видят указание путей своей жизни, ибо они принадлежат уже к пережитому периоду развития; они окаменели и пусть остаются на своих местах. В наше время главную роль играют не благочестивые, а либералы, и даже само благочестие не могло не получить либеральную окраску на своем бледном лице. Либералы, однако, не чтут в Боге своего судью и не руководствуются в своей жизни, велениями Господними: они считаются с человеком, ибо хотят жить не «божественно», а «по-человечески».

Человек — высшая сущность либералов, человек судья их жизни, человечность — их руководящая нить, или их катехизис. Бог — дух, но человек — «совершеннейший дух», конечный результат долгого искания духа, или «исследования глубин божества», то есть глубин духа.

Всякая черта твоя должна быть человеческой; ты сам должен быть человек с головы до пят как извне, так и внутри, ибо человечность — твое призвание.

Призвание — назначение - задача!

Чем может кто-либо стать, тем он и становится. Прирожденный поэт может, конечно, вследствие неблагоприятных обстоятельств не стоять на высоте своего времени и не создавать совершенных творений, не имея возможности сделать необходимых для этого подготовительных работ; но он все-таки будет поэтом и будет творить, независимо от того, батрак ли он или имеет счастье жить при Веймарском дворе. Прирожденный музыкант будет заниматься музыкой — все равно, на всех ли инструментах илу на простой дудочке. Прирожденный философ остается философом — займет ли он кафедру в университете или будет деревенским философом. Наконец, дурак, который в то же время большой пройдоха (это вовсе не противоречит друг другу) остается всегда дураком; всякий, кто учился в школе, может, вероятно, подтвердить это многочисленными примерами; из него могут выдрессировать какого-нибудь начальника канцелярии, но все-таки он остается таким же идиотом, как и в том случае, если бы чистил сапоги начальнику канцелярии. А ведь тупицы от природы образуют бесспорно наиболее многочисленный класс людей. Почему бы как раз в человеческом роде не быть таким же различиям, как среди животных? Повсюду есть более

способные и менее способные.

Но почти никто не туп настолько, чтобы нельзя было вбить в него некоторых идей. Поэтому обычно считают всех людей способными иметь религию. До известной степени они имеют еще и другие способности, например, к некоторому музыкальному восприятию, даже немного и к философии, и т. д. Здесь поповство примыкает к религии, нравственности, воспитанию, науке и т. д., и коммунисты, например, хотят посредством «народных школ» сделать всем все доступным. Обычно ведь утверждают, что эта «большая масса» не может обойтись без религии. Коммунисты расширяют это утверждение до того положения, что не только «масса», но и всякий и каждый призваны ко всему.

Недостаточно того, что массу выдрессировали для религии, нет, теперь она должна еще заняться «всем человеческим». Дрессировка становится все более и более всеобщей и всеобъемлющей.

Вы, несчастные создания, вы могли бы так счастливо жить, если бы смели делать прыжки по вашему пониманию; нет, вы должны танцевать под дудку воспитателей и вожаков медведей, чтобы проделывать фокусы, которых вам самим никогда не пришло бы на мысль делать. И вы даже не бунтуете, когда вас каждый раз принимают не за то, чем вы хотите быть? Нет! Вы произносите про себя механически заученные вопросы: «К чему я призван? Что я должен делать?». Стоит только вам спросить, как вам уже скажут, чего от вас ждут и велют вам это сделать; вам укажут ваше «призвание», или вы сами себе предпишете и продиктуете то, что вам повелел дух. Тогда по отношению к вашей воле это выразится так: я хочу того, что составляет мой долг.

Человек ни к чему не «призван» и не имеет никаких «задач», никаких «назначений», так же точно, как какое-нибудь растение или животное, которое ведь не имеет никаких «призваний». Цветок не следует призыванию усовершенствовать себя, а между тем он употребляет все свои силы, чтобы как можно больше насладиться миром и использовать его, то есть он впитывает в себя столько соков из земли, столько лучей солнца, столько воздуха из эфира, сколько может получить и вместить в себя. Птица не живет согласно какому-нибудь призыванию, но она пользуется, насколько может, своими силами: она ловит жуков и поет, сколько ей хочется. Но силы цветка и птицы незначительны по сравнению с человеческими силами, и человек, пользующийся своими силами, несравненно могущественнее воздействует на мир, чем растение и «ивотное». Призвания он не имеет, но он имеет силы, проявляющиеся там, где они могут проявиться, ибо ведь их бытие состоит единственно в их проявлении, и они так же мало могут пребывать в бездействии, как и сама жизнь, которая перестала бы быть жизнью, если бы «остановилась» хоть на мгновение. Можно было бы воскликнуть, обращаясь к человеку: пользуйся своими силами! Но такой императив имел бы тот смысл, будто задача человека состоит в использовании своих сил. Но это не так. В действительности каждый пользуется своими силами, не считая подобную деятельность своим призыванием: каждый затрачивает в каждое мгновение столько сил, сколько у него имеется. Конечно, говорят о побежденном, например, что он мог бы более напрячь свои силы; но при этом забывают, что, если бы в момент падения он был в состоянии напрячь свои силы (например, силы мышц), то он бы так и сделал; если даже он потерял на минуту мужество, то это было минутным — бессилием. Можно увеличить и

умножить свои силы, в особенности благодаря вражескому сопротивлению или дружеской помощи, но там, где их не применяют, там наверняка они и отсутствуют. Можно высечь из камня огонь, но без удара ничего не выйдет; подобным же образом и человек нуждается в «толчке».

Поэтому призыв использовать силы совершенно лишней и бессмысленный, ибо ведь силы постоянно действуют сами по себе. Применять свои силы — не призвание и задача людей, а их непрерывное, постоянное деяние. Сила - только более упрощенное слово для выражения проявления силы.

Эта роза, с тех пор как она существует, действительно роза, этот соловей — всегда соловей; так же и я не становлюсь действительным человеком тогда, когда исполняю свое призвание, живу соответственно своему назначению — я всегда был и останусь человеком. Первый мой лепет — уже признак жизни «истинного человека», моя жизненная борьба — проявление его сил, мой последний вздох — последнее усилие «человека».

Не в будущем, как предмет вожеланий, находится истинный человек; нет, он существует действительно и реально здесь, в современности. Кто бы я ни был, полон ли я радости или преисполнен страданий, дитя ли я или старец, фанатик ли я или скептик, сплю я или бодрствую,— я всегда истинный человек.

Но если именно я человек, если он во мне, он, которого религиозное человечество представляет себе далекой целью, если он действительно найден во мне, то тогда все «истинно человеческое» — моя собственность. То, что приписывали идее человечества, то принадлежит мне. Та свобода действия, например, которую человечество должно лишь достичь и к которой рую, как волшебную грезу, поместили в золотое будущее, принадлежит мне как моя собственность, пока я пользуюсь ею в виде контрабанды. Конечно, редко кто из контрабандистов отдает себе отчет в своем деянии, но инстинкт эгоизма заменяет им сознание. Относительно свободы печати я уже доказал то же самое выше.

Все принадлежит мне, и потому я добываю себе вновь то, что ускользнуло от меня, прежде всего я всегда буду возвращать себе себя самого, если буду подпадать под чье-либо господство. Но и это есть не мое «призвание», а вполне естественное деяние.

Одним словом, огромная разница в том, явлюсь ли я исходным или конечным пунктом. В последнем случае я не имею себя самого, и чуждое мне «истинное существо» будет вертеть мною, как призрак, под тысячью разных названий. Так как я - еще не «я», то нечто другое (Бог, например, истинный человек, истинно благочестивый, разумный, свободный и т. д.) становится мною, моим «я».

Будучи еще далеким от самого себя, я разделяюсь на две половины: одна из них, недостижимая и требующая выполнения, — истинная; другая, неистинная, должна быть принесена в жертву — это бездуховная; истинная должна стать всем человеком — духом. И тогда говорят: «Истинная сущность человека — дух» или: «Человек существует как человек лишь духовно». Тогда с жадностью начинают ловить этот дух, как будто гонятся за собой и ищут себя, и в погоне теряют себя самого и то, что собой представляют.

И так же, как с яростью гонятся за своим «я», совершенно недостижимым, так и презирают правило умных людей — брать человека таким, каков он есть; их охотнее предполагают такими, какими они должны быть, требуют от каждого той же погони за своим «я» и «стремятся создать из всех одинаково равноправных, одинаково достойных уважения и одинаково нравственных или разумных людей»* (Коммунисты в Швейцарии. Цюрих, 1843, с. 24).

Да, «если бы люди были такими, какими они должны быть, могут быть, если бы все люди были разумны, все любили бы друг друга, как братья»,** (Там же, с. 43.) - тогда настало бы райское житье.. Предположим, что это наступило,— что люди таковы, каковы они должны быть, могут быть. Но чем они должны быть? Но ведь, конечно, не большим, чем они могут быть! А чем они могут быть? Тоже не большим, чем они могут, то есть чем они в состоянии, имеют силу быть. И таковы они в действительности, ибо то, что они собою не представляют, тем они не в состоянии быть: быть в состоянии — это значит быть действительно. Если мы в состоянии чем-нибудь быть, то потому, что мы таковы в действительности. Может ли видеть ослепший от катаракты? О да, если ему удачно снимут катаракту. Но до того он не может видеть, ибо он не видит. Возможность и действительность всегда совпадают. Нельзя сделать того, чего не делают, так же точно, как и не делают того, чего не могут делать.

Странность этого утверждения исчезает, если поразмыслить о том, что слова «возможно, что... и т. д.» почти всегда имеют такой смысл: «Я могу себе представить, что... и т. д.». Например: возможно, что все люди живут разумно, значит: «Я могу себе представить, что все...» и т. д. Так как мое мышление не может содействовать (а потому и не содействует) тому, чтобы все люди жили разумно, а это должно быть предоставлено самим людям, то всеобщий разум только мыслится мной, мыслимая вещь, и как таковая — фактическая действительность, которая только по отношению к тому, что я не могу сделать, а именно к разумности других, может быть названа возможностью. Поскольку это зависит от тебя, все люди могли бы быть разумными, ибо ты ничего против этого не имеешь; более того — насколько простирается область твоего мышления, ты не можешь видеть никакого препятствия для этого, а посему и в твоём мышлении ничто не противоречит тому: оно мыслимо для тебя.

Но так как все-таки не все люди разумны, то, значит, они и не могут быть разумными.

Если чего-либо нет или что-либо не совершается, но мы представляем себе его вполне возможным, то, наверное, есть какое-нибудь препятствие, и оно — невозможно. У нас есть современное искусство, наука и т. д. Но допустим, что искусство наше отвратительно, можно ли, однако, сказать, что мы заслуживаем лучшего искусства и что мы «могли бы» иметь лучшее, если бы захотели? Наше искусство таково, какое мы может иметь. Наше теперешнее искусство — единственно возможное, а потому и действительное искусство.

Даже в области мышления, если мы сведём слово «возможный» к пониманию его как «будущий», то все-таки оно тождественно «действительному». Если, например, говорят: возможно, что завтра взойдет солнце,— то это значит только, что для сегодняшнего дня завтра — действительное будущее; вряд ли нужно объяснять, что будущее — только тогда действительное «будущее», когда оно еще не настало.

Но зачем заниматься разбором одного слова? Если бы в нем не заключалось самое крупное по последствиям недоразумение, длящееся уже тысячелетия, если бы все призраки одержимых людей не были связаны с единственным словом «возможно», то оно бы нас совершенно не интересовало.

Мысль, идея, как только что было показано, владеет одержимым миром. Но ведь возможность есть не что иное, как мыслимость, а этой ужасной мыслимости издавна приносятся бесчисленные жертвы. Было мыслимо, что люди могут стать разумными, мыслимо, что они познают Христа, мыслимо, что они вдохнутся добром и станут нравственными, мыслимо, что они все войдут в лоно церкви, мыслимо, что они не будут ни замышлять, ни говорить или думать ничего противогосударственного, что они могли бы быть послушными подданными; но, так как это было мыслимо, то таков необходимый вывод — это было и возможно, и далее, так как это было возможно для людей (здесь именно и ошибка: если для меня это мыслимо, значит, это возможно и для людей), то они должны были быть такими, таково было их призвание; и, наконец,— на людей следует смотреть в зависимости от этого призвания, только как на призванных, видеть их не такими, каковы они на самом деле, и какими они должны быть».

А дальнейшее заключение? Не единичная личность - человек, а мысль, идеал — вот человек, к которому единичная личность относится даже не так, как ребенок к взрослому, а как точка, сделанная мелом, к точке воображаемой, или как конечное создание к вечному творцу, или, наконец, по новейшим воззрениям, как особь к роду. Здесь выступает на первый план культ «человечества», «вечного бессмертного человечества», ио имя которого (*in majorem humanitatis gloriam*) единичная личность должна пожертвовать собой и находить свою «бессмертную славу» в том, чтобы что-либо сделать для «человеческого духа».

Так господствуют мыслящие над миром, пока будут продолжаться времена поповства и наставничества, и то, что им приходит на мысль, то возможно, но, что возможно, то должно быть осуществлено. Они придумывают себе идеал человечества, который пока действителен только в их мыслях; но они придумывают также и возможность его выполнения, и нельзя оспаривать того, что выполнение действительно... мыслимо: оно — идея.

Но мы, я и ты, можем быть людьми, о которых какой-нибудь Круммахер думает, что они могут еще стать добрыми христианами; но если бы он хотел нас «обработать», то мы скоро дали бы ему почувствовать, что наше обращение в христианство только мыслимо, но не возможно, и если бы он продолжал приставать к нам со своими мыслями, своей «доброй верой», то ему пришлось бы узнать, что мы вовсе не должны стать тем, чем не намерены быть.

И так это продолжается, распространяясь далеко не только на благочестивейших и благочестивых. «Если бы все люди сделались разумными, если бы все поступали правильно, если бы все руководствовались человеческой любовью!», и т. д. Разум, справедливость, человеческая любовь и т. д. внушаются человеку как его призвание, как цель его стремлений. Что же значит быть разумным? Понять самого себя? Нет, разум — это книга, полная законов, направленных исключительно против эгоизма.

Вся история до сих пор была историей духовного человека. После господства чувств наступает настоящая история, то есть период духовности, бесчувственности, сверхчувственности. Человек начинает становиться чем-то и хочет им стать. Чем? Добрым, красивым, истинным, точнее — нравственным, благочестивым, добродушным и т. д. Он хочет сделать из себя «настоящего человека», «нечто дельное». Отвлеченный человек — вот его цель, его долг, его назначение, призвание, задача, его — идеал; он весь обращен в будущее, в потустороннее. А что делает из него «истинного человека»? Жизнь в истине, доброте, нравственности и т. д. На всякого, кто не признает этого «что», не имеет той же нравственности, той же веры, он смотрит подозрительно, он гонит прочь от себя, он преследует всех «отщепенцев, еретиков, сектантов» и т. п.

Ни одна овца, ни одна собака не старается стать «настоящей овцой», «настоящей собакой»; ни для одного животного сущность его не является в виде задачи, то есть понятия, которое оно должно осуществить. Оно осуществляет себя тем, что живет, то есть пользуется собой и себя уничтожает. Оно не стремится стать чем-нибудь иным, чем оно есть на самом деле.

Вы думаете, что я советую вам походить на животных? Нет, я не могу уговаривать вас стать животными. Прежде всего это опять-таки было бы задачей, идеалом («пчела может научить тебя сделаться трудолюбивым»), а затем это все равно, что пожелать животным, чтобы они стали людьми. Ваша природа — раз и навсегда человеческая, вы — люди, с человеческой природой. Но именно вследствие того, что вы уже люди, вам не надо делаться ими. Животных тоже «дрессируют», и выдрессированное животное проделывает много неестественного. Но дрессированная собака сама по себе не лучше обыкновенной собаки и ничего не выигрывает оттого, что дрессировка делает ее более приятной для нашего общения с ней.

Издавна стремятся «создать» из всех людей нравственных, разумных, благочестивых, человеческих и т. п. «существ», то есть дрессировать их. Но эти попытки разбиваются о непреклонную индивидуальность, обособленность, эгоизм человека. Те, которых удалось подчинить этой дисциплине, никогда не достигают идеала, они только на словах исповедуют возвышенные принципы. Вопреки тому, что они исповедуют, они «признают себя полными грешниками» в жизни и остаются всегда ниже своего идеала; они — «славные люди» и утешают себя сознанием «человеческой слабости».

Иначе обстоит дело, если ты не гонишься за идеалом, как за своим «призванием», а потребляешь и разрушаешь себя, как время, которое все разрушает. Разрушение — не твое «призвание», ибо оно настоящее.

Совершенно верно, что образованность, культура и религиозность освободили людей, но освободили их от господства одного властелина, чтобы подчинить их власти другого; я научился обуздывать свои вожделения благодаря религии, я побеждаю сопротивление мира посредством хитрости, которую мне дала наука, я не служу даже никому из людей: «я не чей-либо раб». Но затем начинается другое: ты должен повиноваться Богу более, чем человеку. Более того, хотя я свободен от безрассудных решений своих инстинктов, но я должен все-таки подчиняться другому господину — разуму. Я приобрел «духовную свободу», «свободу духа». Но как раз этим самым я сделался подвластным дулгу. Дух повелевает

мною, разум управляет мною, они — мои путеводители и повелители. Царят — «разумные» и «слуги духа». Но если я не плоть, то, конечно, я и не дух. Свобода духа - мое рабство, ибо я - больше чем дух или плоть.

Конечно, образование сделало меня могущественным. Оно дало мне власть над всеми инстинктами — как над инстинктами моей натуры, так и над требованиями и насилиями мира. Я знаю, что не должен позволять своим влечениям, страстям, порывам и т. п. господствовать надо мною, и для этого у меня есть силы, приобретенные благодаря культуре: я - их господин. Подобным же образом я - повелитель строптивного мира, и мне повинуются вода и суша, и даже звезды должны отдавать мне отчет. Дух сделал меня повелителем и властелином. Но над самим духом я не имею власти. Религия (образованность) дает мне, конечно, средства для «победы над миром», но не средства для победы над Богом, для его ниспровержения, ибо «Бог есть дух». А дух, господином которого я не могу сделаться, может являться в самых разнообразных видах: он может назваться Богом или духом народа, государством, семьей, разумом, а также свободой, человечностью, человеком.

Я с благодарностью принимаю то, что приобретено тысячелетиями культуры, и ни от чего не желаю отказаться: я недаром жил. Я, убедился, что имею власть над своей природой и не должен быть рабом своих страстей, — и это не должно пропасть для меня даром; я узнал, что могу теми средствами, которыми меня снабдила культура, победить мир, и это приобретено слишком дорогой ценой, для того чтобы изгладиться из моей памяти. Но я хочу большего.

Обычно спрашивают себя, кем может стать человек, что он может исполнить, какие блага может себе добыть, и самое высшее из всего этого ему выставляют как его призвание. Как будто бы все возможно для меня!

Если видят, что кто-либо обуреваем какой-нибудь страстью, например, ревностью, торгашеством и т. д., то пробуждается желание освободить его от этой одержимости и помочь ему «преодолеть себя». «Мы хотим сделать из него человека!» Это было бы очень мило, если бы место прежней одержимости не заняла какая-нибудь новая. В действительности же от погони за наживой и деньгами освобождают раба их только для того, чтобы заполучить его для благочестия, гуманности или какого-нибудь другого принципа и для того, чтобы вновь утвердить и установить его на незыблемой почве.

Это перемещение с ограниченной точки зрения на более возвышенную выражается в следующих словах: нужно обращать свои взоры не на преходящее, а единственно на непреходящее, не на временное, а на вечное, абсолютное божественное, — на духовное.

Скоро убедились в том, что безразлично, к чему чувствуешь влечение или чем занимаешься; тогда поняли, какую роль играет предмет влечения. Но возвышающийся над единичностью вещей предмет есть сущность вещей; более того — только сущность есть то, что мыслится о них, только оно познается мыслящим человеком. Поэтому не обращай свои взоры на вещи, а направляй свою мысль на сущность. «Блаженны не видящие, но все же верующие», то есть блаженны мыслящие, ибо они имеют дело с невидимым и верят в него.

Однако объект мышления, который в течение веков представлялся существенным спорным пунктом, рано или поздно должен был превратиться в нечто, о чем «не стоит больше и говорить». В этом убедились, но тем не менее не переставали признавать важность и значение предмета, его абсолютную ценность, как будто для ребенка не самое существенное кукла, а для турка — Коран. Пока не мое «я» самое важное и существенное для меня, до тех пор безразлично, какой предмет я считаю наиболее «существенным», и только мое преступление по отношению к нему — более или менее крупное — имеет значение. Степень моей зависимости и преданности означает и степень моей подчиненности, степень греховности — меру моей особенности.

Наконец, нужно уметь «выбросить из головы» все - для того уже, чтобы можно было... уснуть. Ничто не должно нас занимать, чем мы сами себя не занимаем: честолюбец не может вырваться из своих честолюбивых планов, богобоязненный - из мыслей о Боге; гипноз и одержимость — близнецы.

Вплощать свою сущность или жить соответственно ее понятию, что у верующих в Бога значит жить «благочестиво», а у верующих в человечество значит жить «по-человечески», может пожелать лишь чувственный или греховный человек и лишь тогда, когда он имеет выбор между чувственным счастьем и блаженством покоя, когда он — «жалкий грешник». Христианин не что иное, как чувственный человек, который, зная, что такое святость, и сознавая, что он ее оскорбляет, видит в себе жалкого грешника; чувственность, сознаваемая как греховность, и вот христианское сознание, вот настоящий христианин. И если теперь не распространяются больше о «грехе» и «греховности», а вместо этого занимаются «эгоизмом», «себялюбием», «своекорыстием» и т. д., если дьявол превратился в не-человека или «эгоистического человека»,— разве в этом не тот же христианин? Разве не осталась старая пропасть между добром и злом? Разве не ставится над нами судья — человек? Разве не осталось призвание — призвание сделаться «человеком»? Если это называют уже не призванием, а «задачей» или «долгом», то это совершенно правильное переименование, ибо «человек» не представляет собой, как Бог, личное существо, которое может «призывать», но сущность дела с переменной названий не изменилась.

Каждый имеет то или иное отношение к объектам, и каждый относится к ним различно. Возьмем для примера ту книгу, к которой имели отношение миллионы людей в течение двух тысячелетий,— Библию. Чем она была для каждого из них? Только тем, что каждый из нее делал! Кто равнодушен к ней, для того она — ничто; кто употребляет ее в качестве талисмана, для того она имеет значение только волшебного средства; кто, как дитя, играет с нею, для того она не что иное, как игрушка, и т. д.

Но христианство требует, чтобы она обязательно была для всех одним и тем же, хотя бы священной книгой или «Священным писанием». Это значит, что взгляды христианина должны быть взглядами всех других людей и что никто не должен относиться иначе к этому объекту. Этим разрушается своеобразность отношения к объектам и какой-нибудь один образ мыслей устанавливается как «истинный», «единственно истинный». Вместе со

свободой делать из Библии то, что я хочу из нее сделать, уничтожается и свобода действия вообще, и на ее место ставится обязательность одного определенного взгляда или суждения. Кто же выскажет суждение, что Библия — крупнейшая и долговечнейшая ошибка человечества, тот судит преступно.

В действительности же дитя, разрывающее Библию на клочки или играющее с нею, или инк, который прикладывает к ней ухо и с презрением отворачивается от нее, потому что она молчит, судит так же правильно о Библии, как и поп, восхваляющий в ней «Слово Божие», или критик, называющий ее творением рук человеческих. Ибо то, как мы обращаемся с вещами, дело нашего усмотрения, нашего произвола, мы пользуемся ими по нашему желанию, или, точнее, мы пользуемся ими, как можем. О чем, собственно, кричат попы, когда видят, как Гегель и умозрительные теологи вкладывают в Библию умозрительное содержание? Именно о том, что они поступали с нею по своему желанию, или «произвольно» судили о ней.

Но так как мы все произвольно обращаемся с объектами, то есть обращаемся с ними так, как нам больше всего нравится, по нашему желанию (философы больше всего любят выслеживать во всем «идею», так же как богобоязненные люди стараются всеми средствами, например, благоговейным отношением к Библии, снискать расположение Бога), — то ни в чем не встречаем мы такого досадного произвола, такого страшного насилия, такого бессмысленного гнета, как именно в этой области нашего собственного произвола. Ко ведь если мы поступаем произвольно, обращаясь со священными предметами, как нам угодно, как же можем мы требовать от попов иного отношения и как можно возмущаться ими, если они так же произвольно, но уже на свой лад, относятся к нам и считают нас достойными сожжения, как еретиков, или какого-либо иного наказания, например, цензуры?

Каков человек, таково и его отношение ко всему. «Как ты глядишь на мир, так он глядит и на тебя». Сейчас же слышится мудрый совет: ты должен смотреть на мир «правильно и беспристрастно». Как будто дитя не смотрит на Библию «правильно и беспристрастно», когда превращает ее в игрушку. Такое умное указание дает нам, например, Фейербах. На вещи глядят именно тогда правильно, когда из них делают, что хотят (под вещами понимаются здесь всякие объекты, как, например, Бог, наши ближние, любовница, книга, животное и т. д.). Поэтому на первом плане стоят не вещи и их вид, а я, моя воля. Хотят найти мысль в вещах, хотят открыть разум в мир, хотят найти в нем святость, а поэтому все это и найдут. «Ищите да обрящете». Что я хочу искать, это определяю я: я хочу, например, найти в Библии материал для поучения — его можно найти; я хочу основательно изучить и исследовать Библию — я получу серьезное знание и создам серьезную критику, — насколько я в силах это сделать. Я выбираю себе то, к чему я склонен, и, выбирая, я утверждаю свой произвол.

Сюда примыкает мнение, что всякое суждение, которое я произношу о том или ином объекте, — создание моей воли, и опять-таки это мнение приводит к тому, что я не теряюсь в создании, суждении, а остаюсь творцом, произносящим суждение, творящим непрерывно новое. Все предикаты, относящиеся к предметам, — мои взгляды, мои суждения, мои создания. Если они хотят освободиться от меня и быть чем-нибудь для себя или даже внушать мне почтение, то я должен как можно скорее обратить их в их ничто, то есть

возвратить их в себя, в творца. Бог, Христос, Троица, нравственность, добро и т. д. — такие создания, о которых я себе не только могу позволить сказать, что они — истины, но и то, что они — обман. Как я пожелал и повелел, чтобы они существовали, так же я смею желать, чтобы они превратились в ничто. Нельзя допускать, чтобы они переросли меня, нельзя по слабости дозволить им стать чем-то «абсолютным» и этим увековечить их и дать им уйти из-под моей власти и силы. Я подчинился бы принципу окаменения, этому жизненному принципу религии, которая особенно старается создать «неприкосновенные святыни», «вечные истины», короче, «святое», и этим отнять у тебя все твое.

Объект превращает нас в одержимых; это действие он производит как в своем священном образе, то есть будучи сверхчувственным объектом, так и в несвященном, то есть чувственном. В обоих случаях возникает вожделение, или страсть, и жадность к деньгам и тоска по небу стоят на одной ступени. Когда люди эпохи просвещения хотели привлечь людей к чувственному миру, Лафатер⁸⁸ проповедовал тоску по невидимому. Одни хотели вызвать чувствительность, другие - деятельность.

Каждый может рассматривать объекты различно; так, например, Бог, Христос, мир и т. д. понимались всегда самым различным образом. В этом каждый — иначе мыслящий, и после кровопролитной борьбы дошли наконец до того, что за противоположные воззрения на один и тот же предмет не осуждают, как за ересь, достойную смерти. «Иначе мыслящие» терпимы по отношению друг к другу. Но почему я должен иначе думать о чем-нибудь, почему не дойти в этом до крайнего предела, а именно до того, чтобы не иметь никакого мнения о вещи, то есть вовсе ничего не думать о ней, уничтожить ее? Тогда и понимаю наступил бы конец, ибо ничего не надо было бы понимать. Почему я должен говорить: Бог — ни Аллах, ни Брама, ни Иегова, а Бог? Почему бы не сказать: Бог - ничто, обман? Почему возмущаются мной, если я — «отрицатель Бога»? Ибо создание ставят выше творца («Они служат и чтут создание больше, чем создателя»*(Послание к Римлянам, 1, 25)), и нуждаются в господствующем объекте, для того чтобы субъект мог смиренно подчиниться. Я должен преклониться пред абсолютным, я должен, это — мой долг.

«Царством идей» завершилось христианство; идея, мысль, это-то «внутри», в котором гаснут все светила мира, в котором всякое существование делается несуществующим, в котором внутренний мир человека (сердце, голова) делается всем во всем. Это царство идей жаждет своего освобождения, жаждет, подобно сфинксу, разрешения загадки Эдипа, для того чтобы оно могло наконец умереть. Я — разрушитель его, ибо в царстве творца нет иного царства, нет государства в государстве, а есть только создание моего созидającego отсутствие идей. Только вместе с окаменевшим, мыслящим, миром может погибнуть и христианский мир, христианство, и сама религия; только тогда, когда уничтожатся идеи, мысли, только тогда не будет более верующих. Для мыслящего человека его мышление — «возвышенная работа, священное дело», и оно покоится на непоколебимой вере, на вере в истину. Сначала молитва — священная деятельность, затем это священное «благоговение» переходит в разумное «мышление», которое опять-таки сохраняет непоколебимую веру в «святую истину», и оно есть, собственно, чудесная машина, которую приводит в движение дух истины для своих целей. Свободное мышление и свободная наука занимают меня, ибо не я свободен, не Я занимаюсь, а мышление свободно и занимает меня, и это мышление и наука донимают меня небом и небесным, или «божественным», что, собственно, должно

означать миром и мирским, но только «иным» миром; это — только перемена и передвижения мира, занятие сущностью мира, а потому — помешательство. Мыслящий слеп к окружающим его предметам и не может ими овладеть: он не ест, не пьет, не наслаждается, ибо тот, кто ест и пьет, никогда не может быть мыслящим,— мыслящий забывает о еде и питье, о жизненных успехах, заботах о пропитании и т. д., он забывает обо всем этом, как забывает молящийся. Поэтому он и кажется здоровому сыну природы глупым чудачком, глупцом, хотя он и считает его святым, как древние считали бесноватых святыми. Свободное мышление- бесноватость, ибо оно- чистое движение внутреннего мира, единственно внутреннего человека, который управляет и руководит остатком человека. Шаман и умозрительный философ стоят на двух крайних ступенях лестницы внутреннего человека — монгола. Шаман и философ борются с призраками, демонами, духами, богами.

От этого свободного мышления коренным образом отличается мышление собственное, мое мышление, не то мышление, которое мною управляет, а то, которое управляется, направляется или вовсе прерывается мною, по моему желанию. Это собственное мышление отличается от свободного мышления, подобно тому как собственная чувственность, которую я удовлетворяю сообразно своему желанию, отличается от свободной, безудержной страсти, которой я подчиняюсь.

Фейербах в «Основах философии будущего» опирается все время на бытие. Поэтому, несмотря на его вражду к Гегелю и абсолютной философии, он остается в тисках абстракции, ибо «бытие» - абстракция, как и самое «я». Только я - не простая абстракция, я — все и во всем, следовательно, я — сам абстракция, или ничто; я — все и ничто; я — не только простая идея; я в то же время полон идей, я — мир идей. Гегель осуждает собственное, мое, - «мнение». «Абсолютное мышление» - такое мышление, которое забывает, что оно мое мышление, что я мыслю и что оно существует только благодаря мне. Но, как «я», я вновь поглощаю мое собственное, становлюсь его господином; оно, только мое мнение, которое я могу в каждое мгновение изменить, то есть уничтожить, вновь воспринять в себя и поглотить. Фейербах хочет победить «абсолютное мышление» Гегеля своим непреодолимым бытием. Но бытие я так же преодолел в себе, как и мышление. Это — мое «я есмь», как и то мое «я мыслю».

При этом Фейербах доходит только — вполне естественно — до тривиального доказательства, что я нуждаюсь для всего в чувствах или что я не могу совершенно обойтись без этих органов. Конечно, я не могу мыслить, если я не существую со всем моим чувственным бытием. Но для мышления, как и для чувствования, значит как для абстрактного, так и для чувственного, я нуждаюсь прежде всего в себе, а именно — в этом вполне определенном себе, этом единственном. Если бы я не был этим субъектом, например, Гегелем, то я не глядел бы на мир так, как я гляжу на него, не строил бы именно такую философскую систему, какую построил Гегель, и т. д. Я имел бы, конечно, такие же чувства, как и другие люди, но пользовался бы ими иначе, чем теперь.

Фейербах упрекает Гегеля в том, что он злоупотребляет словами, понимая под некоторыми выражениями иное, чем понимают обычно* (Фейербах Л. Основы философии будущего. Цюрих, 1843, с. 47.), и все же сам Фейербах делает ту же ошибку, придавая «чувственному» такой широкий смысл, в каком это понятие обычно не употребляется. Так, например, он

говорит: «Чувственное не есть простое, бессмысленное, то, что видно сразу и что понимается само собой».** Но если оно святое, полное идей, скрытое где-то в глубине, понятное только через что-то другое, тогда это уже не то, что называют «чувственным». Чувственное — это только то, что существует ^ля чувств, а то, что доступно только тем, которые наслаждаются больше, чем только чувствами, которые выходят за пределы чувственных наслаждений или чувственных восприятий,— то в лучшем случае сообщается посредством чувств, то есть чувства составляют необходимое условие восприятия его, но оно — уже более не чувственное. Чувственное, чем бы оно там ни было, воспринятое мной, делается не-чувственным, которое, однако, может создавать опять-таки чувственные действия, например, при возбуждении моих аффектов или моей крови.

Хорошо уже, конечно, то, что Фейербах отстаивает чувственность, но он облачает материализм своей «новой философии» в такие формы, которые до сих пор были собственностью идеализма, «абсолютной философии». Как люди не хотят слышать, что можно жить одним только «духовным», без хлеба, так же мало поверят они тому, что достаточно быть чувственным существом, чтобы уже тем самым быть всем, то есть духовным, мыслящим и т. д.

Бытием ничего нельзя доказать. Мыслимое существует так же, как не-мыслимое; камень на улице существует, но существует также и мое представление о нем. Оба они отличаются только местоположением — первый извне, второе же в моей голове, во мне, ибо я — пространство, как и улица.

Члены цеха, или привилегированные, не терпят никакой свободы мышления, то есть никаких мыслей, которые не исходили бы от «дающего все блага», как бы ни назывался он — Богом, папой, церковью или иначе. Если кто-либо имеет незаконные мысли, то он должен поведать их своему исповеднику и до тех пор подвергаться назначенным исповедником бичеваниям, пока рабская плеть не сделается невыносимой для свободных мыслей. Так же и другим способом заботится цеховой дух о том, чтобы свободные мысли вовсе не возникали; прежде всего — мудрым воспитанием. Кому в должной мере вбиты в голову принципы морали, тому уже никогда не освободиться от моральных мыслей, и разбой, лжеприсяга, обман и т. д. станут для него навязчивыми идеями, от которых его не уберезет никакая свобода мыслей. Его мысли пришли к нему «свыше», и на этой почве он стоит твердо.

Иначе обстоит дело у «концессионеров» или «патентованных» людей. Каждый должен пользоваться, следуя их учению, свободой мысли. Если он имеет патент или концессию на способность мышления, то ему не надобны никакие особые привилегии. Но, так как «все люди разумны», то каждый имеет право вбить себе в голову какие угодно мысли и в зависимости от патента своей природной способности обладать большим или меньшим идейным богатством. И вас убеждают в том, что должно одинаково чтить и уважать мнения и убеждения всякого человека, что «всякое убеждение законно», что должно быть «терпимым к взглядам другого» и т. д.

Но «ваши мысли — не мои мысли, и ваши пути — не мои пути». Или, вернее, наоборот: ваши мысли — мои мысли, которыми я распоряжаюсь, как хочу, и которые я беспощадно уничтожаю: они — моя собственность, которую я, если хочу, уничтожаю. Я не жду от вас

разрешения, чтобы растрепать и развеять ваши мысли. Мне дела нет до того, что и вы называете эти мысли своими, ибо они остаются моими, и, как я хочу с ними поступать,— это уже мое дело. Может быть, я пожелаю оставить вам ваши мысли — тогда я буду молчать. Вы думаете, что мысли летают свободно, как птицы, что каждый может поймать себе какую-нибудь, а затем объявить ее своей неприкосновенной собственностью? Нет, все, что летает вокруг меня, все — мое.

Вы думаете, что ваши мысли вам принадлежат и что вы ни перед кем не ответственны, что вы должны отдавать в них отчет только Богу? Нет, ваши маленькие и большие мысли принадлежат мне, и я поступаю с ними по своему желанию.

Тогда только мысль становится моей собственностью, когда я не боюсь подвергнуть ее в каждый момент смертельной опасности, когда потерю ее не буду считать потерей для себя и не буду бояться потерять себя. Моей собственной мысль становится только тогда, когда я могу ее поработить себе, но никогда не наоборот, когда она не может довести меня до фанатизма, сделать меня орудием своего осуществления.

Итак, свобода мысли существует тогда, когда я могу иметь всевозможные мысли; но собственностью мысли сделаются только тогда, когда они не могут стать господами надо мной. В эпоху свободы мысли господствуют мысли (идеи); но если я обращаю их в свою собственность, то они становятся моими созданиями.

Если бы иерархия не проникла так глубоко в сердце человека, мешая смело преследовать свободные, то есть быть может, неугодные Богу мысли, то надо было бы свободу мыслей считать таким же пустым словом, как, например, свободу «пищеварения».

По убеждению людей, принадлежащих к какому-нибудь цеху, мысль мне дана; по мнению же людей свободомыслящих, я ищу мысли. Для первых истина уже найдена и существует, и мне нужно только принять ее, как милость подателя; для вторых же истину следует искать, и она — моя лежащая в будущем цель, к которой я должен стремиться.

В обоих случаях истина (истинная мысль) находится вне меня, и я стараюсь ею овладеть благодаря дару (милости) или приобретению (собственным заслугам). Итак: 1) истина-привилегия; 2) нет, путь к ней открыт для всех, и ни Библия, ни Святой отец, ни церковь или кто бы там ни был не обладают ею; но обладания ею можно достигнуть спекулятивным путем.

Оба эти типа людей не обладают истиной как собственностью. они имеют ее или в виде лена (ибо «святой отец», например, не-единственный: единственный — это такой-то Сикст, Климент и т. д., но как Сикст, Климент и т. д. он не обладает истиной, а обладает ею только как «святой отец», то есть как дух), или в виде идеала. Как лен она существует для весьма немногих (привилегированных), как идеал — для всех (патентованных).

Свобода мысли имеет, следовательно, тот смысл, что, хотя мы все и блуждаем во тьме и по пути заблуждений, но всякий может приблизиться на этом пути к истине, и посему он на истинном пути («все дороги ведут в Рим, на край света» и т. д.). Свобода мысли означает, таким образом, то, что истинная мысль мне не свойственна, ибо как можно было бы в таком

случае отделять меня от нее?

Мышление сделалось совершенно свободным, и оно предъявило целую массу истин, которым я должен подчиняться. Оно стремится завершиться системой и дойти до абсолютной «кон- ст итуции ». В государстве, например, оно до тех пор ищет идею, пока оно не создало «разумное государство», с которым я должен тогда примириться; в человеке (антропологии) — пока оно не «нашло человека».

Мыслящий отличается от верующего только тем, что он верит гораздо более, чем верующий, который, в свою очередь, в своей вере (заповедях веры) мыслит гораздо менее мыслящего. Мыслящий имеет тысячи догматов веры, в то время как верующему достаточно нескольких; но первый вносит в свои догматы связность, и эта связность служит ему мерилем их оценки. Если какой-нибудь догмат ему не подходит, он его выбрасывает.

Изречения мыслящих параллельны изречениям верующих. Вместо: «То, что исходит от Бога, неистребимо», говорится: «То, что исходит от истины, верно», вместо: «Воздайте Богу почет» — «Воздайте истине почет». Но мне все равно, побеждает ли Бог или истина: прежде всего я хочу победить.

Но разве мыслима «неограниченная свобода» внутри государства или общества? Государство может, конечно, защищать людей друг от друга, но оно не может подвергнуть себя опасности неограниченной свободы, так называемой безудержности. «Свободой обучения» государство заявляет только то, что ему все равно, кто обучает,- если он обучает так, как хочет государство, или, выражаясь яснее, государственная власть. Этому «как хочет государство» подчинены конкуренты. Если духовенство, например, не хочет подчиниться, то оно должно исключить себя из конкуренции (как во Франции). Границу, которая проводится в государстве для всякой конкуренции, называют «надзором и высшим наблюдением государства». Ставя свободу обучения в определенные рамки, государство ставит одновременно определенный предел и свободе мысли, ибо люди обычно не мыслят дальше своих учителей.

Послушайте министра Гизо [89] : «Большая трудность нашего времени - это направление духа и господство над ним. Когда-то эту миссию исполняла церковь, теперь она не может одна справиться с этим. Теперь это очень важное дело может взять на себя университет — и он его выполнит... Наша обязанность, как членов правительства, поддерживать его в этом. Хартия требует свободы мысли и совести» * (Верхняя палата, 25 апр. 1844 г.). Итак, для свободы мысли и совести министр требует управления и господства над духом.

Католицизм призывал кандидатов на форум церковности, протестантство — на форум библейского христианства. Едва ли было бы лучше, если бы их призывали на форум разума, как хочет, например, Руге [90] ** (Неизданное из области новейшей немецкой философии и публицистики. Цюрих, 1843, т. 1, с. 120). Церковь ли, Библия или разум (на который, впрочем, ссылались уже Лютер и Гус) являются священным авторитетом, — это не составляет, по существу, никакой разницы.

«Вопрос нашего времени» не разрешится даже и тогда, когда его поставят следующим образом: обретается ли право во всеобщности или только в единичности? Имеет ли право общее (государство, закон, обычай, нравственность и т. д.) или единичное? Вопрос разрешится только тогда, когда вообще больше не будут испрашивать «права» и не будут более вести борьбу с «привилегиями». «Разумная» свобода обучения, которая признает лишь «совесть разума», не приведет нас к цели; напротив, нам нужна эгоистическая свобода обучения, которая пригодна была бы для всякой индивидуальности, в которой я мог бы понять и проявить себя самого. Что я себя самого «понимаю» — вот действительный «разум», даже если бы я и был неразумен; понимая себя и становясь понятным для других, я могу наслаждаться и пользоваться собой, и другие — мной.

Что выиграла бы мы, если бы в свое время правоверное, лояльное, нравственное и т. д. я стало бы свободным, разумным Я? Было ли бы это моей свободой?

Если я свободен, как «разумное я», то, значит, во мне свободно разумное, или разум, и эта свобода разума, или свобода мысли, издавна была идеалом христианского мира. Мышление, а, как уже сказано, вера — то же мышление, как и мышление — та же вера, желали одарить свободой; мыслящие, то есть как верующие, так и разумные, должны стать свободными, для других же людей свобода была невозможна. Но свобода мыслящих - «свобода детей Божьих» и в то же время самая бессердечная иерархия или господства мысли, ибо я покоряюсь мысли. Если мысли свободны, то я — их раб, я не имею власти над ними и подчиняюсь им. Я же хочу пользоваться мыслями, хочу быть полон мыслей, но в то же время хочу быть без мыслей и вместо свободы мысли хочу стать свободным от мыслей.

Если нужно общаться с кем-нибудь, то, конечно, я могу пользоваться лишь человеческими средствами, которые находятся в моем распоряжении, ибо я — человек. И действительно, только как человек — имею мысли; как я — я вне мыслей. Кто не может освободиться от мыслей, тот — только человек, раб языка, этого продукта людей, этого клада человеческих мыслей.

Речь, или «слово», более всего угнетает нас, ибо она идет на нас с целым войском навязчивых идей. Наблюдай-ка за собой во время процесса мышления, и ты заметишь, что подвигаешься вперед только благодаря тому, что в каждое мгновение прекращаешь мыслить и говорить. Не только во сне, но и во время самого глубокого размышления ты таишь молчание и становишься без-мысленным — и именно тогда-то более всего. И только благодаря этому отсутствию мыслей, этой «свободе мысли», так плохо понятой, или свободе от мыслей, ты обретаешь свое я. Только благодаря ей ты возвращаешься к употреблению речи как твоей собственности.

Если мышление — не мое мышление, то оно — только развертывание клубка мысли, рабство или работа «слуги слова». В моем мышлении не мысль составляет начало, а потому я — цель его, и весь процесс его — только процесс моего самонаслаждения; для абсолютного или свободного мышления, напротив, самое мышление — начало, и оно мучительно старается установить это начало как самую крайнюю «абстракцию» (например, как бытие). Именно эта абстракция, или эта мысль, и составляет начало, а затем надо только тянуть нить, пока не развернется весь клубок.

Абсолютное мышление — дело человеческого духа, а он — святой дух. Поэтому такое мышление — дело попов, одни они «понимают» это дело, «понимают высшие интересы человечества», интересы «духа».

Для верующего истины — нечто законченное, факт; для свободомыслящего — нечто еще требующее завершения. Каким бы скептическим ни было абсолютное мышление, его скептицизм имеет пределы и в нем все-таки остается вера в истину, в дух, в идею и ее конечное торжество: оно не грешит против Святого духа. Но всякое мышление, не грешащее против Святого духа,— вера в духов, в призраки.

Я не могу отказаться от мышления, так же как и от ощущений, не могу отречься я и от деятельности духа, как и от деятельности чувств. Как ощущение дает нам видимость вещей, так и мышление — видимость сущностей (мыслей). Сущности присущи всему чувственному, в особенности словам. Власть слов следует за властью вещей: сначала нас принуждают розгой, затем убеждением. Власть вещей преодолевает наше мужество, наш дух; перед властью убеждения, то есть слов, даже пытки и меч теряют свое превосходства и силу. Люди убеждения — самые подлинные попы, которые противостоят всякому соблазну сатаны.

Христианство отняло у земного только его непреодолимость, сделало нас независимыми от него. Точно таким же образом я возвышаюсь над истинами и их властью: я — сверхчувственен и сверхистинен. Истины так же низменны и безразличны для меня, как вещи: они меня не одухотворяют, не вдохновляют. Никакая истина, никакое право, никакая свобода и т. д. не может иметь независимое от меня существование, не может меня покорить. Это — все слова, только слова, как и для христианина все земное — только «суета». В словах и истинах (каждое слово — истина; Гегель утверждает, что нельзя сказать лжи) нет спасения для меня, как и для христианина в земном и суетном. Как богатства мира сего не могут сделать меня счастливым, так же и истины. Искусителем является теперь не сатана, а дух, и он соблазняет нас не благами мира сего, а мыслями, «блеском идей».

Рядом с мирскими благами должны быть обесценены и все священные блага.

Истины — не что иное, как фразы, способы выражения, слова (логос); поставленные во взаимоотношение, в строй, они образуют логику, науку, философию.

Для мышления и речи мне нужны истины и слова, как для еды пища; без них я не могу ни думать, ни говорить. Истины — это мысли человека, выраженные в словах, а потому существующие так же, как и другие реальности, хотя они существуют только для духа или для мышления. Это — продукты человека и человеческие создания, и если их выдают за божественные откровения, то все-таки остается их свойство чуждости для меня; даже будучи моими собственными созданиями, они уже чужды мне после акта их создания.

Христианин — это такой человек, который верит в мысли, верит в державность мыслей и хочет сделать властителями всего так называемые принципы. Иной человек исследует мысли и ни одну из них не выбирает без критики своего повелителя, но он похож на собаку, которая обнюхивает людей, чтобы найти <<своего господина>>; он всегда выискивает

господствующую мысль. Христианин может бесконечно многое переиначивать, может сколько угодно бунтовать, разрушать понятия, господствующие столетиями, — все же он будет стремиться вновь и вновь к какому-нибудь новому «принципу» или новому господину, вновь воздвигать высшую или более «глубокую» истину, создавать новый культ, будет постоянно провозглашать какой-нибудь дух господином по предназначению, будет ставить какой-нибудь закон над всеми.

Если существует хотя бы одна истина, которой человек должен был бы посвятить всю свою жизнь а свои силы, потому что он человек, то он подчинен какому-нибудь правилу, господству, закону и т. д., он — слуга. Такого рода истины, например, — человек, человечество, свобода и т. д.

Можно сказать наоборот: если ты хочешь продолжать далее мыслить, то это зависит от тебя; только знай, что, если ты хочешь дойти до чего-нибудь дельного, то существует много трудных вопросов для разрешения, и если ты их не преодолеешь, то далеко не уйдешь. Не существует, значит, никакого долга и никакого призвания для тебя отдалиться мыслям (идеям, истинам); но если ты хочешь заняться этим, то ты поступишь хорошо, если воспользуешься тем, чего добились другие уже на этом поприще.

Итак, кто хочет мыслить, тот имеет, конечно, задачу, которую он ставит себе — сознательно или бессознательно, но задачу эту он не обязан принять, ибо никто не имеет обязанности мыслить или верить. В первом случае можно сказать: ты не идешь достаточно далеко, ты имеешь ограниченный или узкий Интерес, не доходишь до существа дела, одним словом, не одолеваешь его в совершенстве. С другой стороны, однако, куда бы ты ни дошел, все-таки ты всегда у предела, ты не имеешь призвания идти дальше и поступаешь поэтому, как хочешь или можешь. С мышлением обстоит дело так же, как со всякой другой работой, которую ты можешь бросить, когда захочешь. Точно так же, если ты не можешь более верить во что-нибудь, то не должен принуждать себя верить или продолжать думать об этом как о святом догмате, — как поступают теологи или философы; ты можешь спокойно отвлечь свой интерес от того, к чему ты охладел. Попы назовут, конечно, это охлаждение «леностью, необдуманностью, самообманом» и т. д. Но не обращай внимания на эти пустяки. Ни одно дело, ни один так называемый высший интерес человечества, ни одно «святое дело» не стоит того, чтобы ты служил ему и ради него занимался им; ценность его ты можешь искать только в одном: стоит ли оно того, чтобы ты отдался ему ради себя. Будьте, как дети — призывает библейское изречение. Но дети не имеют никаких святых интересов, они ничего не знают о «добром деле». Зато они отлично знают, к чему они склонны, и обдумывают всеми силами, как добиться своего.

Мышление, конечно, не прекратится, так же как и чувство. Но власть мыслей и идей, господство теорий и принципов, главенство духа, одним словом, иерархия будет продолжаться до тех пор, пока будут господствовать попы, то есть теологи, философы, государственные мужи, филистеры, либералы, наставники, слуги, родители, дети, супруги, Прудоны, Жорж Санды, Блюнчли" и т. д., и т. д.; иерархия будет существовать до тех пор, пока будут верить в принципы, мыслить о них или даже их критиковать, ибо даже самая непримиримая критика, которая хоронит все обычные принципы в конце концов тоже верит в принцип как таковой.

Критикует всякий, но критерии различны. Поэтому гонятся за «истинным» критерием. Этот истинный критерий — первая предпосылка. Он — создание не критика, а догматика, мало того, обычно его берут из культуры данного времени, например, «свобода», «человечность» и т. д. Не критик «открыл человека», а «человек», был установлен догматиком как истина; критик же, который, впрочем, может быть одновременно и догматиком, верит в эту истину, в этот догмат. В этой вере, одержимый этой верой, он и критикует.

Тайна критики — какая-нибудь «истина»: вот секрет ее силы.

Но я различаю критику, служащую чему-нибудь, от собственной, или эгоистической. Если я критикую, имея предпосылкой какое-нибудь высшее существо, то моя критика служит ему и ведется ради него; если я одержим, например, верой в «свободное государство», то я критикую все относящееся к нему именно с этой точки зрения,— годится ли это такому государству, или я люблю это государство; если я критикую как верующий, то все распадается для меня на божественное и дьявольское, и вся природа представляется в моей критике в двух ликах, Бога и дьявола (отсюда и название: дар Божий, Божья гора, Лысая гора и т. д.), люди же — как верующие и неверующие; если же я критикую, веря в человека как в «истинную сущность», то все распадается на человека и нечеловека, и т. д.

Критика была до сих пор делом любви: мы всегда производили ее из любви к какой-нибудь сущности. Всякая критика, служащая чему-нибудь,— продукт любви, одержимость, и она поступает поэтому, следуя Новому завету:

«Все испытывайте, хорошего держитесь»* (Первое послание к Фессалоникийцам, 5, 21).
«Хорошее» - вот пробный камень, критерий. Добро, возвращающееся под тысячью именами и видами, остается всегда предпосылкой, остается догматически твердым пунктом для этой критики, остается навязчивой идеей.

Критик инстинктивно предполагает «истину», когда приступает к работе, и, веря в то, что ее можно найти, он ее ищет. Он хочет открыть истинное, и в этом видит «добро».

Предполагать — значит выставить заранее какую-нибудь мысль или мыслить о чем-нибудь раньше всего и, исходя из этой мысли, мыслить все остальное, то есть мерить и критиковать по этой мерке. Иными словами: мышление должно начаться чем-нибудь, что уже мыслилось. Если бы мышление начинало себя само, вместо того чтобы быть начатым, то есть если бы оно было субъектом, самостоятельно действующей личностью, каким является хотя бы растение, то, конечно, нельзя было бы отрицать того, что мышление должно начать с самого себя. Но именно олицетворение мышления и является причиной бесчисленного множества ошибок. В системе Гегеля всегда говорится так, как будто мышление, или «мыслящий дух», мыслит и действует, но это признание личности за мышлением, мышление как призрак. Критический либерализм, со своей стороны, вам скажет: «критика» делает то-то и то-то, или «самосознание» находит то-то и то-то. Но если мышление считается лично действующим, то мышление должно быть предпосланным; если критика считается таковой, то мысль должна ей предшествовать. Мышление и критика могут быть деятельны только из себя самих, они должны быть сами предпосылкой своей деятельности, так как не могут быть деятельны, не существуя. Но мышление как нечто предпосланное,— навязчивая идея,

догмат: мышление и критика могут исходить, значит, только из догмата, то есть из мысли, навязчивой идеи, предпосылки.

Этим самым мы возвращаемся опять к вышесказанному: христианство состоит в развитии мира мыслей, или что оно есть настоящая «свободамысли», «свободная мысль», «свободный дух». «Истинная» критика, которую я называл «служашей», поэтому тоже «свободная» критика, ибо она — не моя собственная.

Иначе обстоит дело, если твое не делается чем-то существующим для себя, вне тебя, если оно не превращается в личность, не становится самостоятельным в виде «духа». Твое мышление имеет предпосылкой не «мышление» как таковое, а тебя. Значит, все-таки ты являешься для самого себя предпосылкой. Да, но не себе, а моему мышлению. Перед моим мышлением предполагаю я. Из этого следует, что моему мышлению предшествует не мысль, или что мое мышление не имеет «предпосылки», ибо предпосылка, которой я служу своему мышлению, не сделка с мышлением, не продукт мысли, она — само фактически существующее мышление, она — собственник мышления и доказывает только, что мышление не что иное, как собственность, то есть что «самостоятельное» мышление, «мыслящий дух» вовсе не существуют.

Это изменение обычного способа рассуждения могло бы казаться пустой игрой отвлеченными понятиями, так что даже те, против которых оно направлено, могли бы согласиться с ним, если бы из него не вытекали практические последствия.

Вывод, который я делаю, следующий: не человек — мера всему, а я — эта мера. Критик, служащий чему-нибудь другому, яо не себе, имеет перед глазами другое существо,— которому он хочет служить, поэтому он приносит в жертву своему Богу только ложных идолов. Все, что делается для этого существа, разве не создание любви? Но если критикую я, то не имею перед глазами даже себя, а доставляю себе только удовольствие, забавляюсь по своему желанию: я по своему произволу или пережевываю что-нибудь, или вдыхаю только его аромат.

Еще яснее станет разница между обоими способами рассуждения, если вспомнить, что критик, служащий оттого, что его влечет любовь, думает, что служит самому делу.

Истину как таковую, «истину вообще», не хотят отбросить, ее хотят найти. Но ведь она не что иное, как *être supreme*, высшая сущность! Если бы «истинная критика» потеряла веру в истину, она должна была бы прийти в отчаяние. И все-таки истина — только мысль, но не одна только; она — мысль, которая стоит над всеми прочими мыслями, мысль неопровержимая, она — сама мысль, которая освящает все прочие мысли, она — святая святых мыслей, «абсолютная», «святая» мысль. Истина устойчивее всех богов, ибо для нее, ради служения ей, низвергли богов и под конец самого Бога. «Истина» осталась, когда погиб мир богов, ибо она есть бессмертная душа этого преходящего мира богов, она — само божество.

Я хочу ответить на вопрос Пилата: «Что есть истина?» Истина - свободная мысль, свободная идея, свободный дух; истина - то, что свободно от тебя, что не твоя собственность, что не

находится в твоей власти. Но истина также и совершенно несамостоятельное, безличное, произвольное, беспомысленное, истинное не может выступить так, как выступаешь ты, не может двигаться, изменяться, развиваться; истина ожидает и принимает все от тебя и существует только благодаря тебе, ибо она существует только... в твоей голове. Ты признаешь, что истинна — мысль, но не всякая мысль истинна, или, как ты выражаешься, не всякая мысль — истинная и действительная мысль. А чем ты измеряешь и как узнаешь истинную мысль? Твоим бессилием, именно тем, что ты не можешь ею овладеть. Когда она тебя подчиняет, вдохновляет и воодушевляет, тогда ты (читаешь ее истинной). Ее господство над тобой убеждает тебя и ее истине и, если она тобою обладает и ты одержим ею, тогда тебе хорошо с ней, ибо тогда ты нашел себе господина и наставника. Когда ты искал истину, чего жаждало твое сердце? Господина! Ты стремился не к еврейской власти, а к властвующему над тобой, и ты хотел возвысить его («величайте Господа Бога нашего!»). Истина, мой милейший Пилат,— властелин, и все те, которые ищут истины, ищут и прославляют властелина. Где он, этот властитель? Где же, как не в твоей голове! Он — только дух, и там, где ты думаешь, что ты его видишь, там он — призрак, властелин просто-напросто мысль, и только христианское мучительное желание сделать невидимое видимым, духовное телесным создали призрак и ужасную веру в призраки.

Пока ты веришь в истину, до тех пор ты не веришь в себя, ^ ты — слуга, религиозный человек. Один ты — истина, или, вернее, ты — больше, чем истина, которая перед тобой,— ничто. Конечно, и ты ищешь истину, и ты «критикуешь», но ты не ищешь «высшей истины», которая была бы выше тебя, и ты не критикуешь ее мерилom ее. Ты обращаешься к мыслям и представлениям, как к явлениям окружающего мира, только с целью приспособить их к своему вкусу, сделать их приятными для тебя и твоей собственностью, ты хочешь одолеть их и стать их собственником, хочешь разобраться в них и только тогда находишь их истинными, видишь их в их истинном свете, когда они не могут более ускользнуть от тебя, когда в них нет более ни одного непонятого места или когда они тебе нравятся и они — твоя собственность. Если затем они опять станут труднодостижимыми, опять ускользнут из-под твоей власти, то это именно их не-истинность — твое бессилие. Твое бессилие — их мощь, твоя покорность — их величие. Их истина, значит, - ты, или ничто, которым ты являешься для них и в которое они расплываются, их истина есть их ничтожество.

Только когда они становятся моей собственностью, все эти духи, истины уходят на покой, и только тогда они становятся реальными, когда у них отнято их самостоятельное существование и они делаются моей собственностью, когда уже нельзя более сказать: истина развивается, господствует, утверждается, истинная (тоже понятие) побеждает и т. п. Никогда не торжествовала истина — она всегда была только моим средством, ведущим к победе, подобно мечу («меч истины»). Истина мертва, это - буква, слово, материал, который я могу употреблять. Всякая истина в себе мертва, всякая истина — труп; жива же она только так, как живы мои легкие, то есть в зависимости от моей собственной жизни. Истины — материал, как полезны злаки и сорные травы. Полезны ли они злаки или сорные травы? Только я могу решить это.

Все предметы для меня — материал, которым я пользуюсь. Куда бы я ни ступал, всюду наталкиваюсь на какую-нибудь истину, которую я приспособляю к себе. Истина, конечно, во мне, и мне нечего ее вымалывать. Но служить истине не было никогда моим намерением;

она — только пищевое средство для моего мыслительного аппарата, как картофель — для моего желудка, а друг — для моего сердца. Пока я имею желание и силы мыслить, до тех пор мне служит каждая истина только для того, чтобы перерабатывать ее по моим способностям. Истина для меня так же «суетна и брэнна», как для христианина действительность или все мировое. Она существует так же, как и вещи мира сего, хотя христианин доказал их ничтожество, но она суетна, ибо ценность ее не в ней самой, а во мне; сама по себе она не имеет никакой ценности. Истина — создание.

Ваша деятельность создает бесчисленное множество вещей, вы изменяете даже лицо земли и воздвигаете всюду человеческие создания; точно так же вы открываете бесчисленное множество истин, и мы рады этому от всей души. Но так же, как я никогда не соглашусь стать рабом ваших машин, а только хочу помочь вам для своей же пользы привести их в ход, так же и вашими истинами я хочу пользоваться только тогда, когда не должен служить им и подчиняться их требованиям.

Все истины подо мною — мне дороги; но истины надо мной, истины, к которой я должен приспособляться — я не желаю знать. Для меня нет истины, ибо ничто не стоит надо мной! Даже моя сущность и сущность человека не стоят надо мной. Да, надо мной, этой «каплей в море». этим «незначительным человеком»!

Вы думаете, что дошли до самого крайнего, смело утверждая, что нет «абсолютной истины», ибо каждая эпоха имеет свою собственную истину. Но этим вы предоставляете каждой эпохе свою истину и таким образом уже наверное создаете «абсолютную истину», истину, которая непременно имеется в каждой эпохе, ибо каждая эпоха, какого бы рода ни была ее «истина», все же имеет таковую.

Означает ли это, что в каждую эпоху мыслят, а посему каждая эпоха имеет свои идеи и истины, и что они в каждую последующую эпоху другие, чем в предшествовавшую? Нет, это должно означать, что каждая эпоха имела свою «истину-веру» и в действительности, еще не было такой эпохи, в которой не признавали бы какой-нибудь «высшей истины», истины, которой считали нужным подчиниться как «державной». Каждая истина какой-либо эпохи - ее навязчивая идея, и если позже находили новую истину, то потому лишь, что ее искали; глупость только видоизменяли и облекали в модную одежду, ибо желали все-таки — кто мог сомневаться в законности этого? — «вдохновения идеей». Желали быть под властью какой-нибудь мысли — быть одержимыми ею. Последний властитель этого рода — «наша сущность» или «человек».

Для всякой свободной критики критерием являлась мысль; для собственной, эгоистической критики критерием являюсь я, я, невыразимый, а поэтому не просто мыслимый, ибо только мыслимое всегда можно выразить в словах, ибо слово и мысль совпадают. Истинно то, что принадлежит мне, не истинно то, чему я принадлежу; истинен, например,— союз, неистинны — государство и общество. «Свободная и истинная» критика заботится о последовательно проведенном господстве мысли, идеи, духа; «собственная» же критика только о моем самонаслаждении. Но этим собственная критика походит, действительно — и мы не желаем отвлечь от нее этот позор,— на животную критику инстинкта. Как и критикующее животное, я думаю только о себе. Я — критерий истины, но я — не идея, а

больше, чем идея, то есть невыразим. Моя критика не «свободная» критика, не свободна от меня, и ничему не «служит», не служит и идее, она моя собственная критика.

Истинная, или человеческая, критика открывает только то, что выгодно истинному человеку; собственной же критикой ты узнаешь, что выгодно тебе.

Свободная критика занимается идеями, и потому она постоянно остается только в пределах теорий. Как бы она ни боролась с идеями, она никогда не может освободиться от них. Она возится с привидениями, но она может так поступать, лишь считая их привидениями. Идеи, с которыми она всегда имеет дело, не исчезают совершенно: наступающая заря нового утра их не рассеивает.

Критик может дойти до атараксии по отношению к идеям, но никогда не освободится от них, то есть он никогда не сумеет понять, что над телесным человеком не существует ничего высшего (ни человечности, ни свободы). У него всегда остается представление о «призвании» человека, о «человечности». И эта идея человечества остается неосуществленной, ибо она именно и остается «идеей» и должна остаться таковой.

Если же, наоборот, я приму идею как мою, то она уже воплощена, ибо я — ее реальность; ее реальность состоит в том, что я, телесный человек, ее имею.

Говорят, что во всемирной истории воплощается идея свободы. Наоборот, эта идея реальна, когда ее мыслит человек, и она реальна постольку, поскольку она идея, то есть постольку я ее мыслю или имею. Не идея свободы развивается, а люди развиваются сами, и в этом саморазвитии развивают, конечно, и свое мышление.

Короче, критик - еще не собственник, ибо он еще борется с идеями, как с мощными врагами, точно так же, как и христианин не является собственником своих «злых влечений», пока он должен их одолевать: кто борется с пороком, для того порок существует.

Критика застряла в «свободе познания», свободе мысли, и дух достигает своей настоящей свободы тогда, когда он исполнен чистой, истинной идеи; это — свобода мышления, которая не может обойтись без мыслей.

Критика побивает одну идею другой, например, идею привилегии идеей человечества, или идею эгоизма — бескорыстием.

Вообще начала христианства проявляются опять в его критическом конце, ибо и там, и здесь борются с «эгоизмом» Не меня, Единственного, должен я утвердить, а идею, всеобщее.

Война поповства с эгоизмом, людей духовного склада мыслей с людьми светского склада составляет все содержание всей христианской истории. В новейшей критике эта война делается всеобъемлющей, фанатизм - совершенным. Конечно, война эта кончится только тогда, когда исчерпается до конца ее пыл.

Что мне за дело — по-христиански ли я думаю и поступаю? Человечно ли, либерально, гуманно, нечеловечно, нелиберально, негуманно — об этом я не забочусь. Пусть только то, что я делаю, приведет меня к моей цели и цель эта меня утвердит, называйте меня за это, как вам угодно: мне все равно.

И я, быть может, уже в следующее мгновение откажусь от своих прежних мыслей и внезапно изменю свой образ действий, но не потому, что мысли мои не соответствуют христианству, не потому, что они направлены против вечных человеческих прав, не потому, что они идут наперекор идее человечества, человечности и гуманности, а потому, что они более не подходят мне, потому, что они не доставляют мне полного наслаждения, потому, что я сомневаюсь в прежних мыслях или потому, что мне не нравится, как я поступал раньше.

Как мир, сделавшись моей собственностью, стал материалом, с которым я делаю, что хочу, так и дух, сделавшись собственностью, должен опуститься на степень материала, перед которым я не знаю более священной боязни. Прежде всего я не буду более содрогаться ни перед какой мыслью, какой бы она ни была дерзновенной и «дьявольской», ибо если она угрожает мне стать неудобной и не удовлетворяющей меня, то в моей власти положить ей конец; но я не отшатнусь и ни перед каким деянием, если бы даже там обитал дух безбожия, безнравственности, противозаконности, как и святой Бонифаций [92], который не остановился перед тем, чтобы срубить священный дуб язычников из религиозных соображений. Если вещи мира стали суетны, то и мысли духа должны стать тоже суетными.

Ни одна мысль не священна, ибо ни перед одной мыслью я не чувствую «благоговения»; ни одно чувство не священно (нет священного чувства дружбы, материнского чувства и т. д.), ни одна вера не священна. Все они отчуждаемы, все они — моя отчужденная собственность, и они уничтожаются и создаются мною.

Христианин может потерять все вещи или предметы, самых любимых лиц, этих «предметов» своей любви, не потеряв в то же время себя, то есть в христианском смысле — своего духа, своей души. Собственник может отбросить от себя все мысли, которые были любезны его сердцу и возбуждали его рвение, и все же «он выиграет в тысячу раз более», ибо он, их творец, остается.

Сознательно или бессознательно, но мы все стремимся к своеобразности, и вряд ли найдется среди нас хотя бы один, кто не отказался бы от святого чувства, святой мысли, святой веры, да, мы не встретим ни одного человека, который не мог бы освободиться от той или иной святой мысли. Вся наша борьба против убеждений исходит из того мнения, что мы способны выгнать врага из его крепости мысли. Но то, что я делаю бессознательно, я делаю наполовину, и потому после каждой победы над какой-нибудь верой я становлюсь опять пленником (одержимым) новой веры, которая потом опять вполне овладевает моим я и делает меня фанатиком разума, после того как я перестал быть фанатиком Библии или фанатиком идеи человечества, после того как я достаточно боролся за христианство.

Конечно, как собственник мыслей, я так же буду защищать свою собственность, как и будучи собственником вещей, я не позволял посягать на них; но я буду с улыбкой на устах

смотреть на исход битвы, с улыбкой прикрою щитом трупы моих мыслей и моей веры, с улыбкой буду торжествовать, если буду побежден. В этом и заключается юмор. Смеяться над мелочностью людей может всякий, имеющий «более возвышенные чувства»; но смеяться над всеми великими мыслями, возвышенными чувствами, благородным вдохновением и святой верой — это предполагает, что я — собственник всего.

Если религия выставила положение, что мы все — грешники, то я выставлю против нее другое положение: что все мы слишком совершенны! Ибо в каждое данное мгновение мы — все, чем мы можем быть, и мы вовсе не должны быть большим. Так как в нас нет ни одного недостатка, то нельзя говорить о грехе. Покажите мне хотя бы одного грешника в мире, когда никто не должен будет служить чему-нибудь высшему! Если нужно будет удовлетворять только себя, то я не буду грешником, если не поступлю как следует, ибо я не оскорбляю ничего «святого»; если же, наоборот, я должен быть благочестивым, то я должен угождать Богу, если я должен поступать по-человечески, то я должен угождать сущности человека, идее человечества и т. д. Кого религия называет «грешником», того гуманизм называет «эгоистом». Но, повторяю, если я не должен буду остаться для кого-нибудь другого, то разве не будет «эгоист», в котором гуманизм обрел новомодного дьявола, просто-напросто бессмыслицей? Эгоист, от которого открещаются гуманисты,— такой же призрак, как и дьявол: он существует только как пугало и фантастический образ в их мозгу. Если бы они не были наивно проникнуты старофранконской антитезой добра и зла, которой они дали современное название «человечное» и «эгоистическое», то они не возвращались бы к отжившему «грешнику», преобразив его в «эгоиста», и не нашивали бы новые заплатки на старую одежду. Но они не могли иначе, ибо считали своей задачей быть «людьми». От добрых они освободились, но добро осталось!

Слишком мы совершенны, и во всем мире нет человека, который был бы грешником! Существуют сумасшедшие, которые воображают, что они - Господь Бог, Богочеловек или человек с луны, и все повсюду кишит глупцами, которые считают себя грешниками; но как те — не люди с луны, так и эти — не грешники. Их грех воображаемый.

«Но,— хитро возразят мне,— все же их безумие или их одержимость — грех. Их одержимость — это то, что они сумели сделать, до чего они могли дойти, результат их развития, как и вера Лютера в Библию была тем, на что у него были силы. Развитие приводит одного в сумасшедший дом, другого — в Пантеон или в Валгаллу [93].»

Нет грешников, и нет греховного эгоизма!

Иди себе с миром с твоей «любовью к человеку»! Прокрадись, друг человека, в «притоны порока», побудь немного в водовороте большого города,— разве ты не увидишь всюду грех и грех, и вновь грех? Разве ты не станешь кричать о развращенном человечестве, не будешь сетовать на невероятный эгоизм? Увидев богача, разве ты не скажешь, что он бессердечен, «эгоистичен»? Ты называешь себя, быть может, уже атеистом, но остаешься верен христианскому чувству, что скорее верблюд пролезет сквозь ушко иглы, чем богач перестанет быть «нечеловеком». Сколько людей видишь ты вообще, которых ты не отнесешь к «массе эгоистов»? Что же нашла твоя любовь к людям? Только людей, не заслуживающих ее! А откуда они все происходят? Из тебя, из твоей любви к человеку! Ты

принес с собою в голове грешника, и потому всюду находил его, всюду его предполагал. Не называй людей грешниками, и они не будут грешны. Ты один — создатель грешников: ты, который воображаешь, что любишь людей, именно ты и бросаешь их в грязь грехов, именно ты разделяешь их на порочных и добродетельных, на людей и не-людей, именно ты брызжешь на них слюной своей одержимости. Но я говорю тебе: ты никогда не видел грешника, ты их видел лишь во сне.

Самонаслаждение теряет свою прелесть, когда я считаю нужным служить другому, когда воображаю, что я обязан ему чем-то, что я призван к «самопожертвованию», «воодушевлению» и т. д. Хорошо, так я не буду служить никакой идее, никакому «высшему существу», и тогда само собой выйдет, что я больше не служу никакому человеку, а всегда и всюду — себе. Но тогда я не только фактически и в бытии, но и для моего сознания — единственный.

Тебе следует воздать большее, чем божественное, человеческое и т. д., — тебе принадлежит твое.

Считай себя более могущественным, чем тебя считают, и у тебя будет больше мощи; считай себя большим, и ты будешь иметь больше.

В таком случае ты не только призван ко всему божественному, но и имеешь право на все человеческое, ты и собственник своего, то есть всего, что ты можешь сделать своей собственностью,— ты имеешь способности и создан ко всему, что — твое.

Всегда думали, что нужно дать мне лежащее вне меня назначение — так, что меня уверили под конец, что я должен присвоить себе человеческое, ибо я = человеку. Таков магический круг христианства. И я, о котором говорит Фихте,— то же существо вне меня, ибо я — всякий и каждый, и если это я имеет права, то, следовательно, «я» имеет их, а не я лично. Но я не я рядом с другими я, а я единое: я — единственный. Поэтому и мои потребности, и мои деяния единственны,— короче, все во мне единственно. И только как это единственное я присваиваю я себе все, и только как такое я утверждаю и развиваю себя. Не как человек развиваю я себя и не человека развиваю я: я развиваю себя.

Таков смысл Единственного.

Версия #1

Зверобой создал 5 апреля 2025 18:15:47

Зверобой обновил 5 апреля 2025 19:00:30